

ПРЕДЕЛЫ РУССКОСТИ

Русский сборник. Исследования по истории России XIX—XX вв. Ред.-сост. М.А. Колеров, О.Р. Айрапетов, Пол Чейсти. Том I. М.: Модест Колеров, 2004. 415 с.

«Русский сборник» открывается кратким программным обращением издателя и составителей. Новое начинание продолжает «традиции академической науки» и вместе с тем является «плодом совершенно независимой внеинституциональной инициативы» (с. 7). Следовало бы ожидать, что публикуемые статьи будут дельными, отмечены жанровым разнообразием и раскованностью, а общая композиция – непредвзятостью в отношении тематики и методологии. Кажется, так оно и есть. Поэтому, обсуждая «Сборник», имеет смысл следовать присущему ему настроению *вдумчивого произвола* (это, заодно, освобождает от непосильной обязанности рассматривать каждую из двадцати двух работ).

У такого произвола есть важное ограничение. Пояснения редакторов-составителей и знакомство с материалами сборника указывают на то, что общим принципом собирания материалов являлось *историческое чувство* – ощущение единства истории, сопричастности исторических сюжетов потребностям современности. -- Книга начинается статьей А.А. Колеватова о военных поселениях на Слободской Украине (1817-1832 гг.), вызванных к необходимости привести комплектование армии в соответствие с финансовым положением и культурным состоянием страны («дать воинам оседлость и присоединить к ним семейства»; «чтобы в мирное время солдат... не был отделен от своей родины» (с. 13,14). Сборник завершает глубокая и безжалостная рецензия Б.Е. Степанова на книгу Г. Гусейнова (Карта нашей Родины. Хельсинки, 2000), зависшую «где-то между западной интеллектуальной традицией и нашими реалиями» (с. 409). -- Это качество «Русского сборника» побуждает сосредоточить внимание на том, как в авторских работах соприкасается история прошлого и современность, помогают ли публикуемые материалы совершить переход от исторического чувства к *исторической рефлексии*, возвышающейся над отдельными эпизодами. Такое рассмотрение неизбежно окажется односторонним и в этом смысле пристрастным¹. Но не эта ли сторона определяет судьбу исторического исследования?

Самый крупный тематический блок «Русского сборника» образуют работы, посвященные вооруженным силам и формированиям 1900-1930-х гг. На небольшом отдалении за ними следует статья о танковой промышленности СССР военных лет, в арьергарде – историографический обзор Б. Меннинга «Скромные итоги десятилетия: Русская и советская военная история после Холодной войны»².

Статья О.Р. Айрапетова «Контекст одной пропагандистской акции 1914 г.» отличается панорамностью изложения. Автор свободно раздвигает рамки повествования о статье-инциденте «Россия хочет мира, но готова к войне». (Эта публикация, появившаяся в столичных «Биржевых ведомостях» за полгода до начала общеевропейской войны и основанная на сведениях «из безупречных источников», позднее стала восприниматься как глупая похвальба военного ведомства, пролог к военной и социальной катастрофе.) Айрапетов начинает рассказ с личности военного министра В.А. Сухомлинова и преобразований «сухомлиновского пятилетия» (1909-1914 гг.). Читателю, как будто, предлагается определить меру убедительности заявлений о превосходном состоянии вооруженных сил России в начале 1914 г. Если замысел автора был действительно таков, то реализован он только отчасти. Айрапетов

¹ Автор обзора поэтому воздерживается от ссылок на работы других историков.

² Редакторы-составители не указали, что эта статья тремя годами ранее была опубликована в специальном выпуске новой «Критики» (Bruce W. Menning A Decade Half-Full: Post-Cold War Studies in Russian and Soviet Military History // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 2. No. 2 (Spring 2001)).

подробно анализирует разоружение старых крепостей в целях высвобождения средств на иные нужды и доказывает его пользу для подготовки России к войне XX века. Обсуждаемая публикация, возвещала об успехе и других начинаний военного ведомства (вплоть до «воздушных дредноутов»), однако читатель не найдет в работе Айрапетова сведений, оценок или указаний на исторические работы, которые позволили бы понять, что из предъявленного общественности реестра следует отнести к действительным достижениям и что – к пропагандистскому пустозвонству. «Сверхкритическое прочтение» этой статьи в разгар поражений 1915 г., отмечает Айрапетов, «оказало огромное влияние на оценки и личности Сухомлинова, и усилий его ведомства» и отозвалось многолетней традицией их пренебрежительной (по меньшей мере) оценки. Справедливо – и потому жаль, что полного критического прочтения публикации 1914 г., которого читатель мог бы ожидать от эрудированного и непредвзятого исследователя, пока не состоялось. Во второй части работы рассматриваются отклики, которые заявление о готовности России к активному ведению войны вызвало в армейских и политических кругах Европы; автор анализирует их в контексте основных проблем союзной стратегии Франции и России. В итоге небольшая газетная публикация оказывается смысловым шарниром, организующим рассказ об обстоятельствах подготовки России к войне. Упрек в неполноте изложения Айрапетов, пожалуй, предупредил самим названием статьи. Однако и при рассмотрении «контекста» выглядит странным едва ли не демонстративный отказ автора от формулирования выводов. Айрапетову интересно со своими героями, читателю тоже. Что дальше?

Статья А.С. Кручинина, в которой рассматривается отношение руководителей Добровольческой армии к оккупационным войскам Германии и Австро-Венгрии, затрагивает чувствительные струны российского самосознания. Вынужденная придерживаться неписанного нейтралитета по отношению к оккупантам, Добровольческая армия одновременно готовилась подавить «массовое движение разнузданной черни», которое ожидалось при их эвакуации в конце 1918 г. «...Сплоченная и большая Армия извне и предприимчивые отряды в верных и опытных руках внутри – вот план борьбы с надвигающейся угрозой», – приказывал Деникин (с. 208). Ничего не вышло. «Неспособность Центров Добровольческой армии выполнить поставленные перед ними цели» А.С. Кручинин склонен объяснять в первую очередь отмеченной «двойственностью задач»; «сама постановка этих задач, однако, неопровержимо свидетельствует о стремлении вождей Белого Дела оставаться на страже интересов Отечества во внешней политике, как и во внутренней, не останавливаясь при этом перед военными мерами даже в столь невыгодной обстановке, какая складывалась на Юге России в 1918 г.» (с. 208).

Если статья Айрапетова исподволь вводит читателя в права полноценного исторического наследования, то очерк А.С. Кручинина решительно убеждает в патриотическом, т.е. общезначимом для российских граждан, смысле Белой борьбы. Споры нет: революция закончена, и мы – законные наследники всего русского прошлого. Однако именно поэтому становятся одинаково фальшивы как снисходительная реабилитация, так и напористая апология, вообще всякая пристрастная односторонность. Бессильные стремления «вождей Белого Дела», скрепя сердце торговавших с немцами, – имеют ли моральное преимущество перед народным сопротивлением оккупантам? Да и хотим ли мы, готовы ли ответственно наследовать ненависть к «разнузданной черни»?

Аналогичную смысловую пару образуют статьи В.Б. Каширина о российской агентуре в Румынии перед ее вступлением в мировую войну и В.В. Крестьянникова о белой контрразведке в Крыму в 1919-1920 гг. Исследование Каширина по сути является подробным комментарием к публикуемому отчету российского военного агента Семенова об организации и кадрах разведывательной сети в Румынии. Ценность этого документа («ценный источник») автор усматривает в изображении того, «как на раннем этапе институционального становления разведывательной службы русского разведывательного ведомства вырабатывался и передавался ценный практический опыт ведения тайной агентурной разведки в нейтральных странах в условиях большой европейской войны». Отдадим должное честной авторской тав-

тологии: значимость источника (который содержит своего рода социологический срез местной агентуры, сведения о контактах колеблющейся Румынии и воюющей России и, разумеется, отражает образ мыслей самого военного агента) Каширин видит исключительно в важности транслирования опыта шпионажа. Понятие «источник» поэтому выглядит как позаимствованное из профессионального словаря спецслужб. «События последующих лет, – добавляет Каширин, – свидетельствуют, что полученные русскими разведчиками в те трудные годы профессиональные знания и навыки не были полностью утрачены после крушения Российской империи в 1917 г., а, напротив, были восприняты теми, кто в новых исторических условиях продолжил нелегкую службу русской военной разведки» (с. 143-144). Расплывчатая ссылка на «тех, кто» и на неясный механизм приобщения большевиков к опыту военного шпионажа не убеждает, особенно на фоне четкого и достоверного авторского комментария. Интересно, как сложилась судьба полковника Генштаба Семенова после 1916 г.? Факты на этот счет и соответствующие размышления могли бы оказаться куда полезнее, чем заверения, что дело не пропало и опыт вербовки не угас.

Исторический очерк о белой контрразведке в Крыму В.В. Крестьянников начинает с определения своей цели: «показать деятельность органов контрразведки белой армии в одном из центров белого движения... на материалах отечественных архивов, которые дают возможность осветить не только общее направление деятельности органов контрразведки, но и становление их, совершенствование структуры от разрозненных пунктов до централизованной системы, показать формы и методы контрразведки на примере одного региона» (с. 209). Цель бесспорно достигнута. Весной 1919 г., повествует автор, в городах часто «проводились облавы, которые не давали больших результатов, но арестованных по подозрению в связях с подпольем потом находили со множественными огнестрельными и колотыми ранами» (с. 210), т. е., если отказаться от языка милицейского протокола, -- изувеченных пытками и убитых. Полтора годами позже председатель Севастопольской городской управы констатировал: «Участились аресты ни в чем не повинных людей» (с. 220). Вероятно, издержки становления и совершенствования. В статье дается и оценка эффективности форм и методов на примере региона: «В последние два периода контрразведывательные органы в основном свою задачу по борьбе с организованным подпольем выполняли», вот только резидентуру 13-й армии, «успешно работавшую в портовых городах», «не удалось обезвредить» (с. 220). Сохраняя, как легко убедиться, объективность в сборе свидетельств, В.В. Крестьянников твердо придерживается правила именовать политический террор так, как того хотели его организаторы, – «контрразведкой». Он будто перемигивается со Сталиным (объявившим НКВД «социалистической разведкой») и безусловно, обеими глазами, – с современностью. Каковы бы ни были побуждения автора, смысл его работы видится в расширении «истории отечественных спецслужб», в попытке объединить красную ЧК и белую контрразведку в рамках «исторических чтений на Лубянке»³.

Что же их сближает, кроме установки, общей для осведомительных и репрессивных служб всех стран и всех времен, поддерживать контроль государство под обществом путем актуализации человеческих слабостей – страха, корысти, зависти? Предполагаемое родство красных чекистов и белых карателей обретается не в области социальных устремлений (они открыто противоположны), не в том, что составляет движение человеческой истории. Напротив, основой для такого «национального примирения» становится сведение жизни к примитивной константе самосохранения, определяемой негативным понятием: безопасность. Необходимая социальная функция обеспечения безопасности требует особого человеческого субстрата и субэтики – и вместе с тем удержания их под контролем социума и моральных принципов. Утверждая (самыми сильными – дискурсивными -- средствами) приоритет «профессионального» подхода перед социально-историческим, В.В. Крестьянников предлагает принять критерии органов подавления в качестве общепринятых в человеческом сообществе.

³ Здесь нет намерения задеть организаторов и участников действительных «Исторических чтений на Лубянке». Представленные на них доклады, как правило, выходят за пределы ведомственного профессионализма и вносят заметный вклад в изучение социально-политической истории России и СССР.

Целому – склониться перед частью, притом далеко не лучшей. Конечно, современная жизнь дает примеры посильнее, чем изыскание В.В. Крестьянникова. От историка, однако, всякий вправе ожидать иного, нежели от человека, воспитанного на эрзацах и убежденного в том, что жизнь, в сущности, «очень простая вещь».

Сочинение Крестьянникова ясно, отчетливее других статей сборника, обозначает внутренние пределы усилий по реинтеграции национальной истории. Абстрагирование исследователя от общественных страстей и несводимых ценностей уничтожает предмет истории, оставляя лишь ее механическую оболочку. Результатом становится *негативная универсализация российского опыта*: служебный пыл генерала Климовича и его подручных осенью 20-го года трудно отличить от патриотизма гестаповцев, расстреливавших пораженцев в дни боев на улицах Берлина.

Такое сравнение, впрочем, смутит не каждого автора «Русского сборника». Статья А.А. Смирнова «Рассолдаченная армия» посвящена слову русской военной традиции после 1917 г. Солдат императорской армии был дисциплинирован и превосходно обучен, о красноармейце этого не скажешь. «Почему же традиция жесточайшей требовательности в обучении рядового состава Красной Армии оказалась утрачена?» (с. 230). Причина состоит в том, что армии был «привит невоенный уклад» (с. 234), красному командиру «навязывали стандарт поведения революционной интеллигенции» и он разрывался между солдатским ремеслом, самообразованием и всевозможной общественной работой, его мироощущение раздваивалось, «происходила «разруха в умах»» (с. 231). В наблюдениях автора много справедливого, но вместо того, чтобы осмыслить приводимые факты как проявления социального переустройства, он конструирует идеальный военный тип – как должно было бы быть. Вновь и вновь Смирнов вспоминает дореволюционную «атмосферу, пропитанную бессловесным напоминанием о долге» (с. 232). Так же и в вермахте умели привить «солдатскую психологию, психологию человека, у которого лишь одна задача – отстаивать с оружием в руках интересы своей страны – и который думает только о своем ремесле» (с. 235). «Ясные и развитые представления о солдатской чести» автор в итоге находит у плененного фельдфебеля Хартле («приученного только к войне, – с удовлетворением цитирует он Симонова, – и больше ни к чему») (с. 236). Не приходится сомневаться: автор знает, чем завершилась история «осолдаченной» императорской армии, знает, что вермахт выполнял преступные приказы и что, в конце концов, его солдатам (кому удалось выжить) пришлось пройти школу сострадания в русском плену или курсы гражданского воспитания в американских лагерях. Социальная реальность оказывается автору попросту неинтересной. Альфой и омегой становится умение повиноваться и убивать. И что в этом русского? Что исторического?

Взглянем под этим углом на содержательную и хорошо аргументированную работу А.Ю. Ермолова «Состояние производственной базы танковой промышленности и проблема модернизации выпускаемой наркоматом продукции в 1942-1944 гг.». В ней рассказано, как постепенно сходило на нет советское превосходство в танковой технике и как после Сталинграда руководство танковой промышленности оказалось перед необходимостью определить, делать ли ставку на модернизацию, выпуск самоходных установок или освоение новой модели. Принятые решения, возможно, не были оптимальными, и «прежнего технического превосходства добиться уже не удалось, но производимая техника в целом отвечала стоящим перед нею задачам» (с. 311). Такого рода выводы представляются автору недостаточными, и он обращается к читателю: «Опыт работы танковой промышленности периода Великой Отечественной войны должен быть для нас не только поучительным примером, но и серьезным предупреждением. Если мы хотим, чтобы наша страна имела армию, способную ее защитить, чтобы вооруженные силы были действительно боеспособны, в том числе оснащены современной боевой техникой, то вопрос о производственной базе военной промышленности должен рассматриваться как ключевой» и т.д. (с.311-312).

Увольте. С конца 30-х годов и до последнего времени Отечество превосходило по бронетанковой мощи любую другую страну или коалицию. Что толку? Союз и составляющие его Советские Социалистические Республики сгнули в мирное время. Пока мы не

осознаем, как это фундаментальное обстоятельство сопряжено с неустанной заботой о производственной базе военной промышленности, какие поучительные примеры и серьезные предупреждения можно извлечь из опыта противостояния внешнему миру, безответственными будут оставаться призывы к новым инвестициям (которые, к слову сказать, столь необходимы для освобождения России от накопленных вооружений).

Раздумывая над тем, отчего так духовно несамостоятельны и бесплодны эти попытки актуализировать национальное прошлое, трудно не заметить пренебрежения большинства российских авторов «Сборника» к историографической традиции и к современным интеллектуальным течениям. Ссылки на исторические исследования – почти исключение, и редко выходят за рамки фактографических справок, указания на неточности чужого изложения или обоснования намерения «восполнить существующий пробел» (А.В.Ганин, с. 153). Между тем, каждый из рассмотренных в книге сюжетов так или иначе рассматривался в других исторических работах, что еще важнее – к каждому из них плотно примыкают исследования в референтных областях социального знания. Обрисовавшиеся тенденции, способы формулирования проблемы, логические затруднения и варианты их преодоления – словом, все что составляет отличия науки от ремесла, оставлено без внимания. Позитивистский энтузиазм, связанная с ним демонстративная самодостаточность не позволяют ни осознанно определить направленность своих усилий, ни распознать, что нового их работа вносит в понимание российской истории. Исследователь оказывается перед выбором: признать себя поставщиком сырья для исторической мысли или заявить о своем понимании важности проделанной работы. Мы уже видели, каким может оказаться это понимание.

Похоже, затронутые вопросы беспокоят и составителей «Русского Сборника». Самая важная особенность нового предприятия, пишут они, состоит в отказе от разделения истории России на изолированные друг от друга периоды. «Очевидно, что Российская Империя (sic), СССР и новая Россия – самостоятельные объекты для (sic) изучения. Но в фокусе текущих, предметных, неизбежно частных, не претендующих на энциклопедичность (из которых собственно и состоит актуальная наука) преемственность, взаимосвязь и взаимообусловленность историй имперской, советской и новой России, постимперского и постсоветского пространств – не вызывает сомнений. Они едины в прошлом, едины и в настоящем сборнике»(с. 7). Сказано искренне и неясно. Предметность исследования – не синоним его «частности» и не противоположность энциклопедичности. О том, что отказ от разделения российской истории на «имперскую» и «советскую» сам по себе не сулит откровений, редакторы-составители, должно быть, помнят по стандартному курсу истории КПСС. Так из каких же исследований состоит – или должна состоять? – «актуальная» (надо полагать, в англосаксонском смысле слова) наука? И каковы способы научно-исторического постижения постулированной взаимосвязи между прошлым и современностью – историей новой России?

Ответ на этот вопросы читатель может извлечь из статьи британского историка культуры Кэтрионы Келли «Лаборатория по выработке рабочих писателей: стенгазета, «культурность» и политический язык в ранний советский период»⁴. К. Келли начинает с «историографии массового языка», затем переходит к официальным дискурсам и «тем, как они отзываются в ментальной вселенной реальных читателей». Проецирование этой универсальной проблемы на «русские вопросы» означает, что речь, по сути, идет о социальной генеалогии современной личности, о своеобразии советских истоков нашего «я».

Как их понимать? Автор отмечает расцвет аналитических исследований, основанных на воззрениях Норберта Элиаса и наследии Мишеля Фуко (С. Коткин, В.Волков, Н.Козлова, О.Хархордин). Согласно этим популярным интерпретациям, «субъекты российской истории были вынуждены искать смысл своей жизни исключительно в рамках, заданных официальными правилами поведения», системой запретов и разрешений. В ответ Келли указывает на очевидную примитивность отождествления реального поведения к руководствам по поведению и на противоречия Фуко, который определял «гегемонический дискурс» как всепрони-

⁴ Отчасти, отмечает автор, эта статья основана на одной из глав ее книги «Refining Russia: Advice Literature, Gender and Polite Culture from 1760» (Oxford: Oxford University Press, 2001).

кающий и вместе с тем допускал «существование пространства для сопротивления гегемоническим нормам» (с. 246-247). Исследователю советского общества стоит задуматься над тем обстоятельством (вполне очевидным и все же требующим разъяснения), что реакция читателя «включает не только добросовестное усвоение навязываемого смысла или его презрительное отрицание, но и самые разные формы и уровни вовлечения в него». Естественным полем такого исследования оказывается советская стенгазета. К. Келли рассматривает жанровые и организационные формы стенной печати, правила и предписания, адресованные авторам заметок и редакторам стенгазет, и воплощение этих предписаний на практике. «Сумбур вместо политики» – так в целом оценивает она результаты усилий, направленных на развития стенной печати для приобщения масс к официальному дискурсу, приучения их говорить по-большевистски. Это позволяет объяснить «некоторое охлаждение официального отношения к стенгазете как к агитационному жанру» (с. 265); отчего и «свидетельства о функционировании стенгазет на практике после середины 1930-х гг. найти довольно трудно» (с. 269). Келли приходит к заключению, что заметки в стенгазету представляли собой «поле, на котором масс овладевали новым языком советской власти». Такое овладение вовсе не тождественно укреплению ее господства над народным сознанием (как считает М. Лено): выступления в стенной печати являлись одновременно «генераторами новой культуры», в которой причудливо смешивались ценности традиционного быта и рациональная утопия. «Таким образом, история стенгазеты свидетельствует о двух сторонах программы советской модернизации»: она «не только внедряла новые формы практики, но порой защищала и даже определенно укрепляла традиционные шаблоны поведения» (с. 274-275).

Трудно представить себе читателя, который бы не пожелал поразмыслить над аргументацией и выводами Келли. Оправдывают ли приведенные ею материалы вывод о «генераторах новой культуры»? Или же они указывают скорее на искривление «гегемонических норм» в творчестве рабочих корреспондентов, чем на сопротивление этим нормам? Если так, может быть дело в особенности источников, которые исследовала Келли? – Ее примеры почерпнуты почти исключительно из тех самых «руководств по поведению», доверие к которым она высмеяла в начале своей статьи. Содержащиеся в установочных пособиях сведения о реальном поведении подчинены логике «руководств по поведению». Они критиковали шаблонность и невнятицу, но могли ли при этом адекватно отразить действительное многообразие и скрытое в нем разномыслие – то разномыслие, которое могло бы оправдывать именованное стенной печати как «генератора новой культуры»? Келли читала и слышала о стенгазетах, но, вероятно, никогда их не видела и уж во всяком случае не писала в них заметки. Немолодой россиянин вправе ощутить свое прирожденное преимущество и припомнить спонтанное стенное творчество, которое невозможно свести к упражнениям в конформизме, которое то намеренно размывало границы разрешенного, то невинно игнорировало их и исподволь намечало другие сценарии жизни. Логика повседневного творчества как сопротивления – вот, пожалуй, что стремились затушевать директивные материалы, на которые пришлось опираться Кэтрион Келли. Как заполнение документальной лакуны могло бы повлиять на выводы историка? Вопросы продолжить нетрудно. Замысел, методы, источники, ход изложения, собственные оценки и чужие мнения, итоговые выводы – все прозрачно, открыто для полемической проверки, совместимо с современной повесткой исследований и расширяет возможности ее нового формулирования.

Другой вариант выхода на рубежи современной исторической проблематики предлагает небольшая статья-эссе М.А. Колерова «Политическое дежавю оппозиции: голод 1921-го как голод 1891 года». Название ясно выражает основной тезис автора (который, впрочем, обосновывается не без противоречий и стилистической небрежности). «Память о голоде 1891 года и ее уроках оставалась общей не только для антибольшевистской, но и для большевистской интеллигенции, занимавшей большинство руководящих постов в органах Советской власти». Историческая память позволяла надеяться, что «и теперь, в голоде 1921 г., дискредитировавшая себя репрессивная власть отступит и будет дальше отступать перед “силой общественного мнения”» (с. 238). Иллюзии были сильны: «даже идейная белая эмиграция не

до конца отдавала себе отчет в том, что советская власть не будет с ней делиться своей политической монополией» и позволит своим противникам участвовать в спасении жизней (с. 239). Очень правдоподобно, однако материалы, которые приводит автор, заставляют усомниться в существовании политического расчета. «Например, один из наиболее трезвых и антикоммунистически настроенных идейных вождей Белого движения, П.Б. Струве, писал тогда: “В вопросе о голоде можно и должно отбросить всякие соображения политики и политической тактики [...] Им нужно помочь во что бы то ни стало”» (с. 239). Тем же побуждением проникнуто письмо Е.И. Булгаковой, которое автор счел нужным привести полностью. При этом молчанием обойдены индивидуальные мотивы главных фигур Помгола – социалистов и либералов. Читателю остается полагать (поверив автору на слово), что «идеологическая и психологическая основа» их усилий была иной, чем в процитированных словах Струве. В июле 1921 г. ВЦИК санкционировал создание Всероссийского комитета помощи голодающим, но месяц спустя, «в полной мере понимая намерения и историческую память оппозиции» Ленин предложил распустить Помгол и репрессировать «общественников», что и было сделано (с. 242).

Статья Колерова намечает важные перспективы. Обращение к исторической памяти как социально-политическому фактору одновременно распахивает дверь к сопоставительному анализу «проклятых» повторений российской истории. Такой анализ, в свою очередь, позволяет обнаружить как черты сходства, так и системную уникальность, логику поведения общественных сил. В эпохи, когда на современников накатывает ощущение неподлинности, вторичности происходящего, рациональное исследование «*déjà vu*» обладает сильным терапевтическим эффектом. Соединение времен происходит в этом случае через опыт осмысленного различения и помогает преодолеть диктат обыденной мифологии.

Беда в том, что для эссе, в котором формулируется новый взгляд на историю, сочинение М.А. Колерова недостаточно рефлексивно, для исследования общественных ожиданий 1921 г. – неполно и несбалансированно, в качестве комментария к публикации письма Е.И.Булгаковой оно избыточно и абстрагировано. В результате, выполняя одновременно несколько функций, статья Колерова ни одну из них не реализует с необходимой продуманностью и транспарентностью. Подобно талантливому эскизу, она более свидетельствует о нетривиальных интересах и подходах автора, чем представляет собой внутренне завершенную работу, обозначающую достижение нового рубежа.

Профессиональный контраст между работами Келли и Колерова отражает различие между двумя школами мысли, между западной традицией и современным отечественным творчеством, которое освободилось от внешнего дисциплинирующего воздействия и тем, зачастую, уже вполне счастливо. Два типа исследования прекрасно сосуществуют или даже образуют симбиоз, взаимно дополняя друг друга. По существу же, это молчаливая капитуляция – не перед западной социальной наукой, а перед собственной слабостью, перед коллективной неспособностью усвоить исследовательские стратегии, адекватные поставленной задаче – объяснить «преемственность, взаимосвязь и взаимообусловленность» российской исторической жизни и тем самым определить наше место в ней.

«Русский сборник» – попытка наметить главное направление. Трудолюбия его авторов не занимать. Между первым и вторым зияет разрыв. Почтение к «давним, заслуженным и плодотворным традициям исследования России» (с. 7) может сослужить плохую службу. Сомнительно, чтобы по мосткам, сработанным, большей частью, в условиях несвободы и социальной безответственности, удалось перебраться в будущее.

Историкам, опирающимся на прочные сваи общественного и академического консенсуса, обладающим современной интеллектуальной подготовкой, позволительно следовать призыву Киплинга (о котором вспоминает Брюс Меннинг): «довериться удаче и идти вперед как солдаты», нанося удар за ударом (с. 376). Для нас такая тактика грозит обернуться бессмысленным истощением сил. Российским историкам необходим новый профессионализм.